

Абрикосовый самогон

От редакции. Несколько лет искусствовед Алена Яворская посвятила "возвращению из небытия" писателя Семена Гехта, одного из тех, кем может гордиться одесская литературная школа. Результат ее труда — большой том сочинений С. Гехта, вышедший в нашем городе. Поздравляем составителя и знакомим читателей с рассказом, опубликованным в сборнике "Перевал" в 1925 году.

Десять лет длилась тяжба между Каховкой и Алешками. Десятым годом был двадцать первый. Хотелось бойкой Каховке быть днепровским центром, но этим центром были сонные, плавающие в днах Алешки.

Где-то переиначивались судьбы, перекраивались карты, честные люди теряли свой облик, свой цвет и запах, но здесь, на пламенном Правобережьи — всегда разговор одинаковый, словно кто-то замариновал людей и мысли их, и их желания.

— Как это так! — кричали каховчане, — в Алешках пристань — не пристань, а бадья, и речка то-о-же — паршивая. Конка, одно удовольствие — голое солнце и песок по колена. В нашей Каховке — асфальт и Днепр, и кусты, и прохлада, в будни — базар, по воскресным дням — ярмарки, что хочешь выбирай: пшеница — на отбор, и кони красавцы. Сам бог Каховку назначил быть столицей.

Хорошо говорили каховчане. Каховская кровь — таврическая кровь, кучегурами пылает, виноградом брызжет.

Но в Алешках народ хоть и не торгового звания, а себе на уме. Отвечали алешкинские огородники так:

— Вам сам бог завещал, да нам губисполком приказал.

Ездили обиженные каховчане в Алешки на съезды. Кричали на съездах со слезой, с надрывом.

— Наша программа такая. Пора обратить внимание, приложить данные усилия, добиться во что бы то ни стало собственного исполкома и комхоза.

Ничего не помогало. Из Алешек шли директивы, из Алешек летели приказы, и Каховка принимала их к сведению, к исполнению, безропотно подчинялась и съживалась в зеленой зависти.

Но крепки пословицы, и против них не попрешь. "Будет, — говорит одна, — и на нашей улице праздник". "Всякому овощу, — поддакивает другая, — свое время". Это значит, что каждому городу — будь он велик или

мал — сужден свой час, знаменательный час, когда прокатившееся по его стогнам событие делает его местом историческим. Стоял в Каховке сивашский стрелковый полк. Врангеля поперли, о войне забыли, и занимался этот полк караульной службой и любовью. Был в этом полку адъютант, беловолосый латыш Дрн — сам, как крыса, и фамилия крысиная. Стрелки считали его своим, городские торговцы хаяли, но с лаской, огородники любили его весьма. А женщины — те ценили его манеры, но возмущались его речью. О всякой вещи, будь она самого прелестного назначения, он говорил в мужском роде.

Завелась у него в Каховке Оксана, а сердце у Дрна было такое же, как и волосы, и стал он яростным каховским патриотом.

— Чудной мой латыш, — говорила ему часто Оксана стеклянным голосом, голосом, не допускающим возражений, — ты здесь власть, тебя у нас за начальника считают, и почему бы тебе не осрамить этих алешкинцев? Ззнались они очень, гордые — не подходи.

Дрн слушал и мотал на ус. Но когда узнал, что в Алешках его называют не Дрн, а дрянь, его щеки вспыхнули, как плавни в засуху.

В то время в Таврическом уезде убирали урожай. Был двадцать первый год, невероятная засуха сожгла Юг, урожай выдался худой и жалкий. Чахлая карликовая пшеница, сморщенная картошка и желтые водянистые огурцы. Хорошо только вышли абрикосы. Такие же, как и всегда, пухлые и ласковые, с ямочками и пылью. И что важнее всего — их было много. В Алешках их было невыносимое количество. Город задыхался от их клейкого аромата, их желтизна смешалась с белым цветом мазанок и бурой массой песка — другого цвета город не видел. У каждого огородника было собрано не меньше двухсот пудов. Вывоз был запрещен, налог внесен, оставались целые возы, абрикосы от времени портятся и гниют, что прикажешь делать с ними?

В Алешках бывает так. Стоит одному сделать какое-либо дело, как все остальные делают то же самое. Люди, как дети, и мозги их — воск, лепи, что попало, — материал подходящий. Это обстоятельство быстро уразумел молодой огородник с Доброй Слободки Франц Самосуд. Никто не знал, откуда он родом и к какой нации принадлежит. Полагали, что либо еврей, либо немец, но женщины настаивали, что турок.

— У него глаза, — говорили они, — шелковые-шелковые, бархатные-бархатные, совсем турецкие.

Жил он в Алешках всего полгода и огород получил по ордеру, от кол-

хоза. Хозяйство у него было плевое, но продуктов всегда горы стояли. Говорили алешкинцы робко, что он — жулик и жила, но любили его за балагурство, и никому не удалось узнать, закупил он свое добро или сам наработал.

В июльский день Самосуд вылез во двор и стал сушить абрикосы. С утра до вечера сидел он подле воза, бережно разламывал абрикосы пополам, выхватывал косточку и раскладывал все абрикосы отдельно и косточки отдельно на крыше своей мазанки.

— Абрикосу надо сушить, абрикосу, — кричал он сверху своим соседям, — если ее да не сушить, пропадет, как сирота пропадет.

И доверчивые алешкинцы на следующий день только и делали, что сушили абрикосы.

Но через два дня Самосуд сполз, кряхтя, с крыши, зло плонул в корзину и сказал тем же соседям:

— Абрикосу сушить, что блох разводить. Дрянь дело, товарищи. Овчинка выделки не стоит. На рубль наработаешь, на копейку удовольствия, на копейку.

Вечером этого же дня все горожане прекратили вялую сушильную работу.

И вот тут-то начинается история с самогоном, печальная и неуклюжая история, переиначившая судьбу двух днепровских столиц.

— Надо варить самогон, надо, — сказал озабоченный Франц Самосуд. — Настоящий абрикосовый самогон. Без него пропадет абрикоса, как сирота пропадет. А в самогоне — крепость и сладость. Приятное с полезным, гони самогон, товарищи, гони.

И алешкинские огородники начали гнать самогон.

Но как он делается? Посмотрим, как его делал в данном случае Франц Самосуд.

Он разложил абрикосы на горящем песке под отвесными лучами солнца и ждал, пока они, абрикосы, густо перепреют. Потом он свалил их в гигантскую кадушку и долгие часы стоял над нею, мешая фруктовое тесто круглой тяжелой качалкой. Когда оно перебродило в кадке и превратилось в кислую огненную жижу, Франц установил блестящую жестяную змею, самодельный аппарат. Он разогревал чан, абрикосовая жижа уходила парами, пары переползали из трубы в трубу, медленно охлаждались и оседали уже на дне настоящим абрикосовым самогоном.

Так делал этот напиток Франц Самосуд, и точно так делали его на другой день все огородники.

А рыбаки, у которых есть плоскодонные шаланды, но нет огородов

с фруктовыми деревьями, которые имеют в изобилии карасей и хамсу, но совсем не имеют абрикос, эти рыбаки покупали их и варили самогон, варили с упоением, со злостью, с обидой.

Под знаком самогона кончился бешеный июль. И начинался уже август, когда Самосуд произнес однажды на рыночной площади в шумный базарный день следующие слова:

— Граждане огородники, — сказал Самосуд, — много работы ждет нас впереди, много. Еще баштаны лежат необрунные и зеленые кавуны...

Хорошо говорил Самосуд. Недаром он был горожанин. И не напрасно прозвали его балагуром.

Он предлагал устроить трудовой праздник. Местом действия будет Добрая Слободка, материалом — абрикосовый самогон, а в программе — песни и танцы.

Он обещал пригласить почетных гостей — местную власть: комхоз и исполком, и духовное сословие.

— Ох, подведет, — думали те, что постарше, — куда немец гнет — не иначе как политика.

Но люди в Алешках, как дети, и мозги их — воск, лепи что попало, материал подходящий.

И Самосуд лепил.

Что было потом, никто хорошенько не помнит. Видели только, как Франц развезжал до самого вечера в крашеном шарабане, как он остановился у крыльца земской управы, где теперь находился комхоз, как выходил из калитки церкви Бориса и Глеба, видели еще, как он весело потирал руки, когда спускался с исполкомовской террасы.

А вечером... Но вот что произошло вечером на Доброй Слободке, в городе Алешках, уездном таврическом центре и первой днепровской столице.

Среди гостей были Митяй-Митюха — заведующий комхозом, военмор Дырка — секретарь исполкома, и батюшка Андрей. Столов и стульев не было. Стаканов также не было. И еще не было никакой закуски. Сидели группами, подле каждой кадлушки по десять человек. Самогон черпали жестяными чумичками и пили его молча.

Глаза у всех были турецкие, а носы хуже турецких — багровые, огненные, казачьи. Огородники ползали, карабкались, плясали вокруг костров, вокруг кадлушек, ковырялись руками в остывшей жиже, плевали в нее и снова запивали. Почетные гости были в ажиотаже. Военмор Дырка спал на груди у отца Андрея, а Митяй-Митюха лил обоим на головы по капле самогон.

В темноте Самосуд держал речь. Он говорил о том, что необходимо сделать общественный поступок для гражданской пользы. Огородники кричали — согласны, клянемся, и заставили отца Андрея читать анафему каховчанам.

— Пусть знают наших, гони анафему, поп!

И батюшка читал срамословную анафему.

Потом Самосуд опрокинул кадущку, темная жижа побежала по траве, и влез на нее.

— Рядовой Юла, отправляйся на колокольню. Да не жалей каната, не жалей.

Огородник, которого звали Юлой, был толст и неподвижен. И менее всего он был похож на Юлу. Он поплыл мелкими шажками вниз по Слободской, улице, к церкви Бориса и Глеба.

Десять минут спустя город содрогался от колокольного звона. Звон был неожиданным и необычайным, и очень печальным. Юла вызвонил на колоколах "Яблочко".

Пили, пели и снова пили. Шаландщик Давыдко, молодой цыган, кричал скользким фальцетом:

— Я имею предложение, — кричал он, размахивая руками, как веслами.

— Какое предложение, какое? — спросил Самосуд.

— Построить радиостанцию. На этом самом месте. В знак памяти.

— Хорошо. Ты говоришь, радиостанцию, ты говоришь? А материал, Давыдко, материал где ты возьмешь?

— Какой же материал? — усмехнулся Давыдко. — Шпалы у нас есть, скажи, есть?

— Ну, есть, ну?

— И проволока есть?

— Есть.

— И песок есть, и камень есть, так?

— Так, — весело свистнул Самосуд и скомандовал: — Айда, ребята, строить радиостанцию.

Шпал под рукой не оказалось. Выдергивали целиком загати и сваливали их в кучу. Проволоки также не нашлось. Вместо проволоки натаскали сухой камыш и конопляные палки.

Радиостанция была уже почти готова, то есть была сооружена клеть из трех гнезд, расположенных ярусами и удлинявшимися кверху. Внизу поставили круглую корзину, а наверх забросили бечеву с флагом.

Флагом служила желтая юбка, на ней был мелом нарисован череп и написано большими буквами: "Смерть Каховке".

Итак, радиостанция была почти готова, когда Самосуд спросил:

— А кабель, Давыдко, кабель?

Давыдко вылупил глаза.

— Черт, — буркнул он с досадой, — о кабеле-то я и не подумал.

Самосуд захохотал диким хохотом. Потом он схватил радиостанцию за фундамент и повалил ее.

— Отменяется, несостоятельно.

И, обратившись к обществу, он сказал:

— Граждане огородники, предлагаю перебросить мост через Конку, мост. В лесопилке, за кучегурами, сложено десять тысяч срубов, сложено.

Эти слова были встречены веселым гулом и хохотом. Мост через Конку — да это ведь закадычная мечта всех алешкинцев, да тогда ведь Каховке похвастаться нечем будет, а кому не приятны успехи своей родины?

И Самосуд это обстоятельство также уразумел.

В веселое гуденье вмешался печальный и дикий колокольный звон — Юла вызванивал на колоколах танго.

Был второй час ночи — горланили уже петухи и пахло рассветом, когда желтая алешкинская луна была очевидицей следующего шествия:

По всем улицам, вниз по пути к плавням и камышовым зарослям медленно двигались телеги, фуры и шарабаны, запряженные лошадьми, волами, верблюдами и огородниками. На телегах были сложены свежие пахучие сосновые срубы. Обоз, уже достигавший плавней, кончался за Доброй Слободкой.

Шествие напоминало похоронную процессию — его сопровождал тягучий непонятный мрачный колокольный звон.

Над зданием земской управы часы показывали четыре часа и тридцать минут, когда прелестная пунцовая алешкинская заря была свидетельницей следующего события:

Огородники бросали срубы в воду. Митяй-Митюха читал над ними благословение. Военмор Дырка тяжело спал, уткнувши голову в грязь. Отец Андрей скулил над ним отходную. Давыдко просовывал ему в ноздри сухие камышинки и зажигал их.

Видела еще алешкинская заря, как горожане водружали собственный флаг на Конке — этим флагом была разодранная на семь кусков ряса отца Андрея.

Флаг был прикреплен к носу плоскодонной шаланды.

Шаланда была опрокинута вверх дном. И был уже седьмой час, когда Дырка проснулся и спросил:

— Товарищи, где же Самосуд?

Тогда все обернулись и увидели, что Франц Самосуд мчался в крашеном шарабане, запряженном парой вороных, вниз по городскому шоссе, держа направление на Каховку.

Беловолосый Дрн пришел из штаба рано вечером. В штабе нечего было делать — в то лето занятия Сивашского стрелкового полка были несложны: посменные караульные часы и бессменное любовное томление.

У калитки Дрна встретили Оксана и Самосуд. Самосуд был возбужден. Оксана щебетала.

— В чем дело? — спросил Дрн.

Самосуд выхватил из кармана газету и прочел:

— Общественное безобразие в уезде...

Дрн просиял.

— То-то, — вздохнул он, улыбаясь.

— Преступное попустительство алешкинских властей, — продолжал Самосуд.

— То-то, — опять вздохнул с радостью Дрн.

— Отчисление от должности, строжайшее порицание, судебное следствие.

— Вот то-то и оно-то, — сказали вместе Оксана и Дрн.

Позже, когда латыш немного успокоился, Самосуд ткнул ему газету. В ней траурной каймой были обведены следующие строки:

"В губернии говорят о перенесении днепровского центра из Алешек в Каховку".

Дрн торжествующе затопал ногами:

— О, какой фокус, — закричал он, — какой перемен, какой событий! О, мой милый жен, поцелуй Самосуд за мой счет.

И он закрыл глаза от счастья. Самосуд наклонил голову, и Оксана приблизилась к его щеке горячие потрескавшиеся облупленные губы.

Публикация Алены ЯВОРСКОЙ

